

Н. Н.  
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

*Избранное*



Николай Николаевич Златовратский

# **Мой «маленький дедушка» и Фимушка** (Как это было)

«Вот уж сорок лет прошло, а как хорошо я помню своего деда. Какая пестрая вереница разнообразных существований за эти долгие годы прошла предо мной, — то гордых и надменных, стоящих на самом «верху горы», то окруженных ореолом славы и почестей, пред которыми склонялись ниц целые толпы, то полных величавого самопожертвования, останавливавших на себе изумление всего мира, — и между тем никак, никак не могли они стереть с глубины души это, такое ничтожное, маленькое существование...»

**Николай Николаевич  
Златовратский  
Мой «маленький дедушка» и  
Фимушка**

Вот уж сорок лет прошло, а как хорошо я помню своего деда. Какая пестрая вереница разнообразных существований за эти долгие годы прошла предо мной, — то гордых и надменных, стоящих на самом «верху горы», то окруженных ореолом славы и почестей, пред которыми склонялись ниц целые толпы, то полных величавого самопожертвования, останавливавших на себе изумление всего мира, — и между тем никак, никак не могли они стереть с глубины души это, такое ничтожное, маленькое существование... Проходят долгие годы, полные душевных смут, и вдруг из-за этой массы пережитых впечатлений нет-нет и встанет пред тобою это маленькое существование, такое живое, такое одушевленное, полное плоти и крови. Да и не одно оно, а непременно вместе с ним и еще много таких маленьких и ничтожных существований, — и охватит душу тихое упоение детской веры и любви...

Чаще всего дед является мне после долгих и тяжких душевных смут в виде малень-

кой-маленькой фигурки, низенькой, худенькой, в камлотовом[1] подряснике[2], с жиденькою темно-русою бородкой клинышком, с сухою загорелою лысиной, около которой выются остатки кудреватых косичек; смотрит он на меня съезжившимися маленькими глазами, смотрит и смеется, — и я засмеюсь... Потом он непременно вынет из длинного кармана кубовый платок и берестяную табакерку и, будто подразнивая меня, начнет постукивать об нее костлявыми суставами, а сам опять подсмеивается: «Вот, Коляка, видишь дьякона-то — какой он!.. Хе-хе-хе!.. А ведь он, дьякон-то, дедушка твой!.. Видал ли дьяконов-то? Да где!.. Разве у вас в городе такие дьякона-то?.. А у нас вот как, Коляка, дьякона-то живут, ну-ка!»

И вдруг маленькая фигурка в подряснике, раскинув руки, прямо пред всею деревенской улицей начинает слегка приседать и притоптывать, а тоненький-тоненький тенорок, как комариный звонок, кажется, сейчас еще звенит у меня около уха:

*Как под яблонькой такой,  
Под кудрявой зеленой!..*

— Хе-хе-хе!.. Вот у нас, Коляка, как дьякона-то весело живут!.. Коли погостишь у деда подольше, так я тебе еще то ли покажу!.. Хе-хе-хе! — смеется опять дед прямо мне в лицо, и я смеюсь, и вся белая, вся душистая яблоня смеется вместе с нами, и вся деревенская улица смеется.

— Он тебе, дедушка-то, еще то ли покажет: погости-ка у нас подольше! — подтверждает деревенская улица. И мне кажется, что мой «маленький дедушка» (Я звал его так в отличие от «толстого» дедушки — благочинного, по матушке), — мне кажется, что он действительно показывает мне что-то важное, любовное, веселое: то — мое детство, самое раннее, зеленое детство проносится предо мною и, как бледная зорька, гонит с души тусклый сумрак душевных смут... Но отчего ж так дороги мне эти детские ранние зори?..

Я расскажу вам теперь об этом, потому что в последнее время как-то чаще, чем прежде, стал посещать меня мой «маленький дедушка», приводя с собой, из тьмы позорного забвения, ряды таких же, как он, маленьких и ничтожных существований.

Прошло всего, кажется, сорок лет, а какое уж далекое время было, такое далекое, что если бы могли перенестись усиленным воображением на тогдашнюю сельскую улицу, вы увидали бы, как наш батюшка-поп, с большим животом и сивою бородой, в тихий летний полдень сидит на своей завальне в одной, длинной по колена, белой, без пояса, рубахе и, сложив на этом большом животе красные руки, беззвучно хохочет вместе со всею деревенскою улицей — над чем? А над моим «маленьким дедушкой», которого тут же, на этой самой деревенской улице, моя толстая, высокая, суровая бабка, с большими бровями, в красном повойнике, с подоткнутым за пояс подолом, бьет кочергой по его сухой и костлявой спине, а я верезжу благим матом, схватившись за ее подол и стараясь оттащить ее от несчастного и оробевшего деда. Вы увидали бы также, как в тот момент, когда неожиданное для деревенской улицы веселье уже достигало, кажется, наивысшей степени, вдруг раздается пугливый окрик: «Господа идут!» — и все живое, что было на этой улице: и батюшка-поп в белой рубахе, и целая уйма

мужицких смеющихся бород, и сама моя суровая бабка, схватившая за что попало меня и деда, — внезапно и без остатка исчезало за заборами и калитками своих убогих хат. Вот какое далекое это было время, когда жили на свете близкие мне маленькие и ничтожные существования.

Да, невозможно мне скрыть, что нередко случались с моим «маленьким дедушкой» эти неприятности, потому что дедушка любил выпить, а выпивши, любил прежде всего целый день-деньской гулять по этой деревенской улице и, остановившись перед своею хатою, дразнить бабушку своим комариным тенорком с притоптыванием. Ну, да простятся же старой, запуганной и угнетенной сельской улице эти невинные минуты патриархального увеселения, так как все же не потушили они мои детские ранние зори и из-за них не переставала тлеться в маленьких, ничтожных существованиях «искра божия»!

И вот, когда мой «маленький дедушка», являясь мне, переносил меня в это далекое прошлое, мне прежде всего припоминалось одно из самых важных событий моей юности,

имевшее большое значение как для всей моей жизни, так и для жизни близких мне по крови и духу. И это потому, конечно, что самое событие запечатлелось во мне неразрывно с образом деда. Событие это в общем всегда представлялось мне довольно смутным: оно прошло чрез мою душу только какими-то отрывочными, но яркими полосами света и оставило на ней неизгладимый след.

Шел мне тогда уже двенадцатый год. В начале лета мы, я и две моих сестры — одна погодка со мной, другая еще грудная — с матушкой приехали, по обыкновению, гостить к дедушке из города. Приезд свой мы всегда пригоняли к престольному празднику в дедушкином селе, а затем оставались гостить на несколько недель; я же другой раз оставался один у дедушки на целое лето.

Однажды, вспоминается мне, сидели мы с дедушкой, как и всегда, около хаты, под любимую его старую яблоней, которая, перевесившись из сада через плетень на проулок, осеняла нас своею широкою тенью и обливала нежным своим ароматом. Здесь было любимое прибежище дедушки — и потому, что он

в свободное время, сидя на опрокинутой кадушке, занимался здесь сапожным ремеслом, и потому, что «бегал» сюда от ворчливой и хозяйственной бабки, которая «не давала ему вздоха», когда он сидел в избе, и потому, наконец, что был он человек действительно «уличный», как обзывала его бабка, и только на этой деревенской улице, «на людях», чувствовал он себя вполне довольным и счастливым. Сидит, сторбившись, дед и тачает какой-нибудь разбитый мужицкий сапог, я и сестренка копошимся около него, а матушка, сидя тут же на мураве, шьет и тихонько мурлыкает какой-нибудь «стих».

— Ты бы, Настя, про прекрасную мать-пустыню мне спела... Люблю, — говорит дед, умильно улыбаясь.

— Хорошо, папенька, — говорит матушка и тоненьким голоском начинает «Мать-пустыню». Я любил слушать, когда пела матушка, любил, думается мне, потому, что она всею душою уходила в песню; бывало, подопрет голову рукой, сама смотрит в неведомую даль, а из ее больших темно-карих глаз потоком льются слезы... Отчего она плакала, для меня

в то время всегда оставалось загадкой, приводившей меня в недоумение, но пение ее слушать я не мог равнодушно, и у меня захватывало горло, сердце отчего-то билось, и мне хотелось уйти куда-то далеко-далеко за эту песней... Недаром любил и дед эти ее песни. Да они всегда были между собою большие приятели; оттого ли, что уж искони свекровь с снохой не уживаются, или потому, что слишком уж они рознились по складу души, только матушка жила не в ладах с бабкой и зато крепче дружилась с дедом.

Матушка — сколько я ни запомню ее в молодых годах — всегда представлялась мне какою-то... «необычной», в особенности с тех пор, когда я случайно услышал смутный рассказ о том, как она в девушках «бегала». Говорили, что был уже назначен у нее стовор с одним молодым богословом, который должен был взять с нею «место», как вдруг она пропала из дому с одною молодою черничкой, наказав сказать дома, что пошла «к святым местам». Долго бродила она с места на место, жила где-то в женском скиту и, наконец, вернулась исхудалая и изнеможенная, с истер-

занными и опухшими ногами. А жених по-  
ждал-пождал и взял другую, с другим «ме-  
стом»... После, когда я был уже постарше, я  
иногда с удивлением, незаметно, следил за  
нею, когда она вдруг, бросив хозяйство, оста-  
новится пред окном и долго-долго, сложив  
молитвенно руки, смотрит в беспредельную  
небесную лазурь. Я с боязнью думал тогда,  
что вдруг моя мама уйдет от нас... Бегство мо-  
ей матушки невестой из-под родительского  
крова имело, однако, для нее те последствия,  
что «солидные» женихи свататься за нее бо-  
ялись и «место» было сдано за младшею ее  
сестрой. Трудно сказать, что случилось бы с «бег-  
лою невестой», если б случайно не встрети-  
лась она с другим «мечтателем» — моим от-  
цом. Он тоже бежал от «места». Кончив курс в  
семинарии, он, когда суровая и хозяйствен-  
ная бабка уже приискала ему «невесту с ме-  
стом», бежал в Москву «от свадьбы», думая  
поступить в университет, но у него не было  
ни средств, ни силы, чтобы перебиться год,  
необходимый для подготовки к экзамену, и  
он вернулся, изголодавший и обносившийся.  
Духовное начальство подозрительно отнес-

лось к «блудному сыну», и для него уже не оказалось «мест», к ужасу бабки. Тогда два «мечтателя» встретились и неразрывными узами связали себя на долгую страду «чиновничьей» жизни. И это была для них действительно одна бесконечная страда, от которой уже не было сил убежать, — страда, полная взаимных огорчений и недоумений... И вот почему в отрочестве осталось у меня такое впечатление, что как будто и батюшка, и матушка, и мы все живем не на своем месте, как будто все мы тут только «временно», и что каждому из нас где-то должно находиться совсем в других местах и служить другому богу...

Спела матушка «Мать-пустыню» и долго-долго, как всегда, смотрела своими большими, темными, полными слез глазами в беспредельную даль.

— Ах, хорошо, Настя! — говорил дед в умилении. — Хорошо-то как, хорошо!.. И что это нынче Фимушка не пришла послушать?.. Не пришла вот — и на-поди. А ты, сдастся, никогда так хорошо еще не пела...

Только что дед упомянул о Фимушке, как

она и сама издалека показалась. Только теперь чего-то бежит она, торопится...

Фимушка тоже была большая приятельница деда, и не было того дня, чтобы они вместе не сидели здесь под любимую яблоней. Жила Фимушка как раз напротив, в избе у брата, в большой крестьянской семье. Фимушку мы все так давно знали, что почти за родную считали, да и вся деревня ее родной считала. Со всем это было какое-то безгрешное существо. Она была старушка, убогая, слепая с детства, «с самой воспы», как говорила она, — вся такая же маленькая, худенькая, хрупкая, но живая, юркая, как и мой «маленький дедушка». Ходила она всегда в синем изгребном сарафане, который висел на ней, как на худом ребенке; на голове носила черный платок с белой каймой, из-под которого виднелось худое, сморщенное в комочек лицо, но с длинным сухим носом; этот длинный нос и потухшие, но полные какого-то своеобразного, необъяснимого блеска и выражения глаза придавали ее лицу необычайно сильный и энергичный характер. Но нисколько оно не было сурово, а вместе с ее маленькими сухими губами как

будто сдержанно и любовно смеялось. Ходила она всегда скоро, уверенно, постоянно помахивая подогом вперед себя, как будто загребала воздух и плыла.

Это маленькое, ничтожное, но дивное существо всегда жило в моем воспоминании вместе с дедом. Откуда взялась она, откуда и как явилась на этой грешной и суровой земле в то грешное и суровое время, это была для меня такая же необъяснимая, но чувствуемая всем существом тайна природы, какою была и эта — вся такая белая, разубранная, как невеста, вся душистая, нежная и веселая яблоня, под которой мы сидели. Одно, впрочем, я знал тогда из этой тайны, да и то потому, что нам открыла ее сама Фимушка, когда мы спросили ее, как она ходит и бежит — не упадет и не спотыкнется, как она всякую ямку и жердочку знает лучше нас?

— А предо мной облачко ходит, — объяснила она. — Как встану, пойду, а облачко предо мной... Я и хожу-то не сама, а облачко меня водит, белое да светлое... Куда оно поведет, туда и я... И ни пред чем у меня с ним страху нет!..

И не только мы, малые ребята, не только легковерные бабы, но и бородатые мужики, и сам дедушка, даже сами «барин с барыней» как-то боязливо и бесспорно верили, что пред Фимушкой ходит «белое облако», и водит ее за собой, и указывает ей путь, — если к кому Фимушка придет, то это значит, не сама она пришла, а облако ее привело. Да и сама Фимушка не только безусловно верила в это облачко, но она, может быть, действительно постоянно видела его пред собой.

Если бы я в то время знал и видел больше, чем мог знать и видеть, я понял бы, откуда и как явилась эта легенда о «белом облачке» и какое большое значение имела она не только в жизни такого маленького и ничтожного существа, как Фимушка, но и в жизни других таких же ничтожных существований. Но понял я это только уже впоследствии, и, к стыду моему, довольно поздно. Не задавался я тогда вопросом и о том, какими образами жила душа этого убогого существа, что за мир теней носился пред ее духовным оком, с тех пор как в самом рассвете жизни упала зловеющая завеса между нею и озаренным солнцем миром.

Кто такие были для нее мы все из этого светлого мира и какими таинственными нитями душа ее была связана с нашими? Я не мог отвечать на эти вопросы, но вместе с другими я был уверен, что Фимушка не только знала и видела все, что делалось кругом, но знала и понимала лучше, чем все мы, и потому именно, что ей на все светило ее «белое облачко». Понятно, почему я вместе со всеми испытывал пред этим воображаемым «облачком» какой-то необъяснимый страх, смешанный с таким же необъяснимым уважением и изумлением. Понятно было мне также, почему пред этим хрупким, худеньким и ничтожным существом нередко смущенно стихал разбушевавшийся сход бородатых мужиков, боязливо заискивали пред нею моя суровая бабка и сам наш толстый батюшка, знавший за Собой порок мздоимства и стяжания, и бывали случаи, как приходилось мне слышать под секретом из боязливых уст, что Фимушку заводило белое облачко к самим «господам», и даже эти «господа» не менее смущенно опускали пред нею глаза и старались задобрить это бедное, но любвеобильное, правдивое и сострада-

тельное существо. Действительно, вся она была преисполнена необычайной чуткости к малейшему страданию самого малейшего из живых существ. Поэтому вся жизнь ее была одним напряженным волнением, одною неустанно-чуткою заботой. Вот сидит она с моим дедушкой, слушает его, кажется, кругом тишина полная, мир и покой, но напряженный слух ее уже вдруг насторожился, в бесцветных глазах загорелся беспокойный огонь, и Фимушка быстро срывается с места и уже бежит куда-то мелкою, семенящею походкой, быстро-быстро загребая вперед себя подогом: это коршун откуда-то спускается медленными мерными кругами над селом — и бедные наседки встревожились и заметались по задворкам. Заметалась с ними и Фимушка; бегают, волнуется, выкрикивает своим тоненьким голоском и грозит своему — увы! — невидимому — и не виданному ею врагу, который невдалеке быстро схватывает и раздирает свою жертву. Фимушка слышит только болезненный крик жертвы, и, кажется, он слышится ею во сто, в тысячу раз пронзительнее и громче, чем всем другим, и, значит, во

столько же раз жесточе режет ее сердце. Вокруг ее мечутся и кричат перепуганные куры, гуси, утки, вверху — целый содом галочьего стада, и она еще больше мечется из стороны в сторону, опять кому-то грозит, кого-то молит и просит и, наконец, утомленная, обессиленная, садится на землю и плачет горькими слезами. И не было, кажется, такого черствого сердца, которое в эти минуты не прониклось бы к ней самую искреннюю сострадательную нежностью.

— Ах ты, бедная, ах ты, голубка! Вишь, как она везде горе-то чувствует, как она над ним сердце-то надрывает!.. То-то богу-то, поди, на нее с неба-то радостно смотреть!.. Ведь вот уродится же такая божья душа среди нас, грешных! — так говорят, бывало, бабы и мужики, остановившись возле нее.

Да и я теперь, когда бестелесный образ этого бедного существа проносится в моем воображении, изумляюсь и спрашиваю: зачем, зачем это такое любвеобильное и правдивое существо бог послал на нашу суровую и грешную землю?.. И когда я вспоминаю, что сделал с нею наш грешный и суровый мир, мое серд-

це обливается кровью, и это сердце могло бы разорваться на части от отчаяния, если бы вечно юная и могучая природа не украсила ее бедную и забытую могилу такою яркою зеленью и не вырастила из праха ее этих нежных, веселых голубых и розовых цветов... И мне верится, что это доброе маленькое существо не только не успел «загубить» наш греховный мир, но что оно живет духовно вокруг нас еще полнее, чем прежде, — и в этом нежном благоухании ландыша, и в милой детской песне малиновки, и среди молодой жизни, так пышно распускающейся над прахом могил...

Когда Фимушка подбежала к нам в тот злополучный для нее день, то, мне вспоминается, она была именно охвачена вся тем напряженным волнением, как я привык ее видеть: она дрожала, как мелкий лист на березке, подог прыгал в ее сухой руке, пока она старалась им ощупать дедушку; в глазах ее светилось изумление и страх, и они горели тем странным блеском, который мы замечали только у одной Фимушки и считали чем-то особенным, «не здешним». Она, наконец, ощу-

пала дедушку и быстро постучала подогом по его плечу.

— Дьякон, пойдем! — сказала она резким, отрывистым и уверенным голосом, взяв дедушку за руку.

— Куда, Фимушка, куда идти?.. Али кто кого обидел? — спрашивал дедушка, с некоторым страхом всматриваясь в ее лицо.

— Пойдем! — выкрикнула она, словно собиралась сейчас зарыдать, и потащила дедушку за собой.

Я и сестренка побежали за ними. Мы подошли к Фимушкиной избе. Смутно помню, что в растворенные настежь двери мы увидали в избе всю семью Фимушки, чем-то взволнованную и озабоченную. Посредине стоял высокий мужик, племянник Фимушки (старший сын ее брата-большака), и старался надеть поддевку, но ему мешали старуха мать и жена, которые плакали навзрыд и постоянно припадали к его плечам и груди. В переднем углу неподвижно, словно застыв, стоял старик отец в изгребной рубахе и портках, подпоясанный лыковым поясом, на котором висел большой ключ. Старик, как будто в испу-

ге, не говоря ни слова, смотрел, что пред ним происходило, и изредка медленно крестился. Малые ребяташки — наши сверстники и приятели — стояли в углу около печки и, как мы же, кажется, ничего не понимали. Другие сыновья старика, подростки, что-то озабоченно хлопотали: кто искал сбрую, кто складывал одежду, один закладывал на дворе лошадь.

Фимушка необычайно волновалась: она то подходила к любимому племяннику и, любовно заглядывая ему в лицо своими потухшими глазами, гладила костлявою рукой его волосы, мотала головой, то подбегала к старику и слегка похлопывала его по плечу и что-то таинственно шептала ему, то убегала за дверь, кому-то грозила подогом и к чему-то прислушивалась, то подходила к дедушке и спрашивала его несколько раз на ухо: «Ты слышишь ли, дьякон, слышишь?»

Дедушка тоже долго не мог понять, что такое тут случилось, какое горе стряслось над бедной семьей. Наконец ему что-то коротко сказал старик. Дедушка закричал и полез за табакеркой и долго постукивал по ней пальцами, но не нюхал: это всегда было призна-

ком, что он сильно взволнован. А когда Фимушка опять подошла к нему и, заглянув ему в глаза, так же, как и племянника, погладила его по голове, он вдруг отвернулся в угол.

Я видел, как он долго, отвернувшись, утирал глаза синим клетчатым платком. Потом пришел староста и с ним два мужика. Они долго топтались в дверях, не решаясь войти. Потом староста, нехотя и несмело, подошел к Мирону, которого все оплакивали, и, держа себя за кушак, сказал:

— Надоть, Мирон, связать... Мимо барского дома поедем.

— Вяжите, — тихо сказал Мирон, и, мне показалось, он улыбнулся. — Меня свяжете — всех не перевяжете.

Все молчали, как будто нашел на них столбняк. Никто не двигался с места. Наконец староста снял с себя кушак и стал завязывать сзади Мироновы руки. Старик отец опять медленно перекрестился. Бабы разом заголосили и припали опять к Мирону. Фимушка, дрожа как в лихорадке, остановилась среди избы и долго к чему-то прислушивалась.

— Совсем? — спросил кто-то.

— Совсем. — И шепотом прибавляли: — Слышь, этапом угонят.

Фимушку словно что-то подрезало: она вдруг опустилась на пол, припала к нему своей старою головой и, затрепетав вся, как подстреленная птица, зарыдала, как больной ребенок, тоскливым и мучительным рыданием. Моя сестренка схватила меня за руку: она была бледна и тоже вся дрожала.

— Ну, скорее уж! — сказал Мирон. Потом как-то разом все опять на минуту замолчали.

Нам с сестренкой, которая держала меня за руку, стало вдруг так страшно, такой охватил нас ужас, что мы, не разнимая рук, бросились вон и бежали без звука, едва переводя дыхание, вплоть до матушки и бросились ей на колени. Объяснить мы ей ничего не могли: мы чувствовали только один невыразимый ужас.

Немного спустя пришел и дедушка и что-то долго шепотом говорил матушке. А вечером кто-то постучал в окно, когда мы укладывались спать, и спросил: не видали ли где Фимушки?.. Фимушка пропала. Потом, впросонках, я слышал, как с кем-то дедушка разгова-

ривал и кто-то говорил, что Фимишку нашли на барском дворе, что она что-то «у господ на-творила»... Но больше я не расслышал. После того мне всю ночь снилась Фимушка, как она металась и бегала по улице, словно гусыня с поломанным крылом, когда коршун утащил ее цыпленка, как она помахивала и грозила, по-видимому, ее врагу своею липовою палочкой и, наконец, припала к земле и плакала тоненьким, жалостным плачем, как маленький ребенок...

Наутро кто-то из ребятишек сказал нам, что Фимушку заперли на барском дворе в холодную баню и что они потихоньку бегали туда. Нам опять стало с сестрой страшно, и мы долго не решались идти вместе с ребятами. Но я и теперь вспоминаю, как что-то странное, непреодолимое тянуло меня за ними, только это не было простое детское любопытство: мне смутно что-то хотелось сделать, но что именно, я не мог определить — сказать ли что Фимушке от дедушки, как посылал он иногда меня к ней, или подать ей «тихую милостыню», как это иногда делала матушка... Наконец я пошел, но не сразу;

несколько раз возвращался опять назад. Я стоял за плетнем и из-за угла смотрел на таинственную баню, в которой сидела маленькая старушка; мне хотелось дождаться, не увижу ли я ее в окно. Нас, ребят, было тут человек с десять; все перешептывались и постоянно озирались по сторонам, чтобы кому из «барских» не попасть на глаза. По-видимому, всем нам одинаково хотелось дождаться за чем-то, не покажется ли Фимушка в окне. Не знаю, почуяла ли она наше присутствие или, как с нею часто случалось, просто разговаривала с теми таинственными тенями, которые ей заменяли действительный мир, только вдруг мы услышали, как Фимушка сильно застучала в раму и закричала своим тоненьким голоском:

— Уйду, уйду, скажите! Не удержать меня запором!.. Придет срок — уйду, из-под чугунных замков уйду от вас!.. Господь батюшка поможет мне, старушке божьей!..

Я бежал вместе с другими, не чуя под собою ног, и мне слышалось только, как маленькая, худенькая старушка из-за «белого облака» грозно кричала, помахивая подогом:

«Уйду!.. уйду!.. уйду!..»

За обедом дедушка сказал, что Фимушка дома теперь, что она говорит, что неведомо кто отпер ей дверь у «темницы», что она стукнула в нее легонько подождом, дверь и отворилась, что потом за ней барыня молодая присылала, дала ей пирог и все говорила: «Молись за меня, Фимушка, молись за меня, грешную!..»

Прошло два дня, я все ждал, что вот скоро увижу Фимушку на улице, но Фимушка не показывалась, а нам с сестрой так хотелось узнать, «какая она теперь». Идти же к ней в избу мы боялись. И вот мы все эти два дня почему-то были очень тихи и скромны и все чего-то ждали. Мне казалось, что, с тех пор как увезли Мирона, и на деревне стало вдруг так тихо, как никогда не бывало, и там все как будто чего-то ждали. Дедушка тоже присмирел и все чаще и чаще нюхал табак и покрывал, а на наши ласки и вопросы отвечал как-то мимоходом, полусловами. Вечером он уходил куда-то на зады, за деревню, где собирались мужики, а потом, за ужином, о чем-то тихо передавал матушке и бабушке. Я помню

только одно, когда он рассказывал про какого-то «старого солдата», который проходил через село и говорил, что «скоро всему будет конец». И эта напряженная тишина сельской жизни и эти таинственные, непонятные для нас рассказы еще больше запугали нас с сестрой; мы чаще, чем прежде, не отдавая себе отчета, вертелись около матушки и пытливо вглядывались в лицо дедушки, когда он возвращался от кого-нибудь из крестьян. Но никакого утешения ни от матушки, ни от дедушки мы не получали. Поэтому мы очень обрадовались, когда приехал из города батюшка и сказал, что он возьмет нас «домой». Как ни любил я дедушку, каким великим счастьем и удовольствием ни было для меня всегда то время, когда я гостил в деревне, как ни рвался я, обыкновенно, туда из города, но на этот раз мне как-то было тут жутко, и мы с сестрой с удовольствием ожидали отъезда. Отец тоже мало привез с собой на этот раз веселья. Больше, чем прежде, он был скучен и недоволен и тоже передавал дедушке какие-то вести, вычитывая их из газет. Дедушка, казалось, не доверял батюшке, «чтобы так могли писать

вслух всем», и, надев очки, брал у него из рук газету и внимательно, чуть не по складам, но шепотом перечитывал все снова и покачивал головой.

Мы уже собирались уезжать, и дедушка пошел на село договариваться насчет подводы, когда вдруг послышался на улице звон ямщицкого колокольчика и бубенцов и перед черною, закоптелюю старою избой дедушки остановилась тройка взмыленных лошадей: кучер в плисовой безрукавке и в поярковой шляпе с павлиньим пером, новый «барский» тарантас, коренастый мужчина с длинными усами, в белой фуражке и сером полукафтани с большим медным крестом на груди, — все это было по тому времени совсем необычным явлением для старой сельской улицы. Не только дедушка, но и суровая бабка моя были до того смущены приездом какого-то «важного барина», что все время, пока приезжий гость беседовал с моим батюшкой, они стояли в стряпной половине, в уголку, около печи, и, тихонько вздыхая, крестились, словно ждали какого-то несчастья.

Но мы с сестрой не боялись неожиданного

гостя так, как дедушка с бабушкой: это был тот знакомый нам добрый ополченец, который иногда гостил у нас в городе и привозил нам гостинцы. Я не мог понять, почему это так испугались этого доброго человека и дедушка, и бабушка, и старая работница девка-вековуша, и крестьяне, которых застал в нашей кухне приезд гостя, и я уже собирался было успокоить дедушку, сообщив ему насчет гостинцев, когда снова звякнули бубенцы, прогремел по улице тарантас и страшный «барин» уехал. А когда я вошел вслед за бабушкой в переднюю горницу, я заметил, что что-то совершилось важное в нашей жизни: отец был взволнован, но весел и доволен; мать молилась на коленях пред образом.

Когда вошел дедушка, батюшка радостно вскрикнул:

— Тятенька!.. Как я рад! Как я счастлив, тятенька!.. Знаете ли, куда они меня зовут, к какому делу? — и, добродушно и весело посмеиваясь, батюшка что-то стал передавать дедушке.

Мы с сестренкой во все глаза смотрели на них, но ничего не понимали... Потом батюш-

ка весело стал торопить ехать в город. Мы стали укладываться. Но я не узнал своего веселого «маленького дедушки»: всегда прежде при проводах или встрече он бывал так оживлен, добродушно-весел, подшучивал над нами, угощал и сам угощался «на дорожку» и, весь раскрасневшийся, постоянно со всеми целовался. Теперь он словно совсем потерялся, ходил постоянно из горницы в стряпную, из стряпной на двор и опять в горницу, покрикивал и изредка, как будто тихонько от других, крестился. Оттого ли, что я все эти дни не понимал хорошенько, что делалось вокруг меня, или потому, что на нас отражалось невольно общее настроение окружающих, только мне чувствовалось тоже как-то не по себе, и я невольно ходил без цели за дедушкой с одного места на другое. Когда я проходил через кухню, один мужичок сказал мне: «Скажи тятеньке, что, мол, готова подвода... Подавать, что ли?.. А слышь, теперь тятенька-то твой господам служить будет?.. Ась?.. Правда али нет?» — спросил он как будто мимоходом.

Я в недоумении посмотрел на него и не

знал, что ответить: хорошее или дурное это было дело со стороны отца. Как вдруг ко мне подошел дедушка и шепотом спросил:

— У вас бывал, слышь, в городе этот барин?

— Бывал, дедушка! — обрадовался я случаю успокоить дедушку и поспешил сказать: — Он добрый!..

— Добрый, говоришь?

— Совсем добрый...

И дедушка перекрестился, но, кажется, мало успокоился.

Прежнее общее напряженное состояние продолжалось. Матушка укладывалась; отец перебирал какие-то бумаги; бабушка особенно усиленно хлопотала, собирая обед на дорогу. И она как-то совсем затихла. Я вышел к воротам, и там мне показалось как-то сумрачно, скучно. Никто ко мне не подходил из товарищей: всех, очевидно, напугал приезд «барина», и они с любопытством смотрели на меня издали... Мне отчего-то стало грустно, хотелось плакать и так захотелось почему-то увидеть еще раз пред отъездом Фимушку. И вдруг я заметил, что Фимушка бежит прямо

на меня, торопится, помахивая подогом.

— Где дьякон-то? Где он? Где? — быстро спрашивает она кого-то и, ощупывая подогом дверь нашего крыльца, идет в кухню. Я за нею.

— Здесь ли ты, дьякон? — спрашивает она в кухне, взволнованная, дрожащая.

— Здесь, Фимушка, здесь, — говорит дедушка.

И вдруг Фимушка стала молиться и повалилась пред ним в ноги.

— Прощай, дьякон, помолись за меня, бедную... Благослови меня, дьякон, — заговорила она.

— Что с тобой, Фимушка?

— Молиться надо идти!.. к угодникам!.. Всем надо молиться!.. И ты, дьякон, молись!.. Молись, дьякон, паче всего. Дай я тебя благословлю...

И Фимушка стала крестить его сухою, маленькою, коричневою рукой.

Я смотрел и дрожал: меня охватывал безотчетный страх; почему-то мне показалось, что мы в чем-то вдруг стали все виноваты.

— Молись, дьякон! — говорила все Фимуш-

ка и стала гладить его по голове. — И Лександре (моему отцу) скажи, чтоб молился. Пропадет без молитвы... Так и скажи: «Пропадешь без молитвы». Молиться надо!.. Всем надо молиться!.. Прощай, побегу... Богомолки ждут!..

И Фимушка быстро, как мотылек, такая же легкая и словно вся прозрачная, вылетела из избы и исчезла.

Я еще не опомнился, как послышался голос отца:

— Тятенька, где вы?

— Я здесь, здесь... Закусили ли? — спросил растерянно дедушка, по-видимому не зная, что сказать, и заторопился навстречу отцу.

— Пора, тятенька, ехать, — говорил отец уже в горнице. — Что ж это вы нынче... хоть бы бражки на прощанье?.. У меня такой нынче день... Хоть бы поздравили меня...

Я видел, что отец был очень весел, и это меня несколько успокоило, и мне хотелось, чтоб и дедушка был весел по-прежнему. Но дедушка сделался еще серьезнее. Вдруг он как-то весь выпрямился и голосом, каким он обыкновенно говорил только в церкви, и то во время особенно торжественной службы,

сказал строго бабушке:

— Анна, подай-ка мне образ!.. Ну, прися-  
демте все, как по порядку, — прибавил он, ко-  
гда бабушка подала ему образ.

Бабушка теперь совсем изменилась и ста-  
ла такая смиренная, послушная деду.

Мы все сели. Посидев несколько минут  
молча, все поднялись. Дедушка стал молить-  
ся, потом благословил образом батюшку и ма-  
тушку, потом меня с сестрой.

Потом дедушка совсем заволновался: руки  
у него дрожали; обыкновенно влажные и мяг-  
кие, глазки его теперь смотрели строго, почти  
сурово.

— Саша, — заговорил он батюшке, — дай я  
тебя перекрещу... Смотри... будь тверд... ду-  
хом... Время идет большое... Помни Иуду...  
сребреники... али мздоимство... али искатель-  
ство... У нас в роду... этого не было... Бедные  
мы... простые... Долго ли до греха! Ну, про-  
щайте... Господь благословит вас!..

Никогда, никогда еще деревня и дедушка  
не провожали нас так. Я смутно чувствовал,  
что в жизни моей, и моих кровных, и в жизни  
всех этих близких мне простых людей, кото-

рые окружали меня в деревне, готово совершиться что-то важное и чрезвычайное...

Когда мы выехали из села, мне самому почему-то хотелось плакать и молиться.

# Примечания

*Камлотовый* — сделанный, сшитый из камлота, плотной шерстяной ткани (с примесью шелка или хлопчатобумажной пряжи) в полосу.

[^^^]

*Подрядник* — длинная одежда с узкими рукавами, надеваемая под рясу.

[^^^]